



А зори здесь тихие...

В списках не значился

Василий Теркин

Дорогие мои мальчишки

Ночевала тучка золотая

Сын полка

ВАСИЛЬ
БЫКОВ

ОБЕЛИСК



МОСКВА
2015

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
Б95

Быков, Василь Владимирович.

Б95 Обелиск : повесть / Василь Быков. – Москва : Эксмо, 2015. – 192 с. – (День Победы. Классика военной литературы).

ISBN 978-5-699-82184-6

Василь Быков (1924–2003) прошел всю Великую Отечественную войну, от Украины, где застала его война, до Австрии. В своей прозе он умел показать героизм обычного человека и это нашло отклик в сердцах миллионов читателей, как тех, кто работал в тылу, так и тех, кто боролся с захватчиками на полях сражений и в оккупации. Об отваге оставшихся на захваченных фашистами землях и рассказывается в повести «Обелиск». Василий Владимирович очень лаконично и пронзительно описывает мужество простого сельского учителя, для которого верность своим ученикам оказалась дороже жизни.

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

© Быков В., наследники, 2015
© Оформление. ООО «Издательство
«Эксмо», 2015

ISBN 978-5-699-82184-6

За два долгих года я так и не выбрал времени съездить в ту не очень и далекую от города сельскую школу. Сколько раз думал об этом, но все откладывал: зимой — пока ослабнут морозы или утихнет метель, весной — пока подсохнет да потеплеет; летом же, когда было и сухо и тепло, все мысли занимал отпуск и связанные с ним хлопоты ради какого-то месяца на тесном, жарком, перенаселенном юге. Кроме того, думал: подъеду, когда станет свободней с работой, с разными домашними заботами. И, как это бывает в жизни, дооткладывался до того, что стало поздно собираться в гости — пришло время ехать на походы.

Узнал об этом также не вовремя: возвращаясь из командировки, встретил на улице знакомого, давнишнего товарища по работе. Немного поговорив о том о сем и обменявшись несколькими шутивыми фразами, уже распрощались, как вдруг, будто вспомнив что-то, товарищ остановился.

— Слышал, Миклашевич умер? Тот, что в Сельце учителем был.

— Как — умер?

— Так, обыкновенно. Позавчера умер. Кажется, сегодня хоронить будут.

Товарищ сказал и пошел, смерть Миклашевича для него, наверно, мало что значила, а я стоял и растерянно смотрел через улицу. На мгновение я перестал ощущать себя, забыл обо всех своих неотложных делах — какая-то еще не осознанная виноватость внезапным ударом оглушила меня и приковала к этому кусочку асфальта. Конечно,



я понимал, что в безвременной смерти молодого сельского учителя никакой моей вины не было, да и сам учитель не был мне ни родней, ни даже близким знакомым, но сердце мое остро защемило от жалости к нему и сознания своей непоправимой вины — ведь я не сделал того, что теперь уже никогда не смогу сделать. Наверно, цепляясь за последнюю возможность оправдаться перед собой, ощутил быстро созревшую решимость поехать туда сейчас же, немедленно.

Время с той минуты, как я принял это решение, помчалось для меня по какому-то особому отсчету, вернее — исчезло ощущение времени. Изо всех сил я стал торопиться, хотя удавалось это мне плохо. Дома никого из своих не застал, но даже не написал записки, чтобы предупредить их о моем отъезде, — побежал на автобусную станцию.

Вспомнив о делах на службе, пытался дозвониться туда из автомата, который, будто назло мне, исправно глотал ме-
 дяки и молчал как заклятый. Бросился
 искать другой и нашел его только у но-
 вого здания гастронома, но там в терпе-
 ливом ожидании стояла очередь. Ждал
 несколько минут, выслушивая длинные
 и мелочные разговоры в синей, с разби-
 тым стеклом будке, поссорился с каким-
 то парнем, которого принял сначала за
 девушку, — штаны клеш и льняные ло-
 коны до воротника вельветовой курточ-
 ки. Пока наконец дозвонился да объяс-
 нил, в чем дело, упустил последний ав-
 тобус на Сельцо, другого же транспорта
 в ту сторону сегодня не предвиделось.
 С полчаса потратил на тщетные попытки
 захватить такси на стоянке, но к каждой
 подходившей машине бросалась тол-
 па более проворных, а главное, более
 нахальных, чем я. В конце концов при-



шлось выбираться на шоссе за городом и прибегнуть к старому, испытанному в таких случаях способу — голосовать. Действительно, седьмая или десятая машина из города, доверху нагруженная рулонами толя, остановилась на обочине и взяла нас — меня и парнишку в кедах, с сумкой, набитой буханками городского хлеба.

В пути стало немного спокойнее, только порой казалось, что машина идет слишком медленно, и я ловил себя на том, что мысленно ругаю шофера, хотя на более трезвый взгляд ехали мы обычно, как и все тут ездят. Шоссе было гладким, асфальтированным и почти прямым, плавно покачивало на пологих взгорках — то вверх, то вниз. День клонился к вечеру, стояла середина бабьего лета со спокойной прозрачностью далей, поредевшими, тронутыми первой желтизной перелесками, воль-

ным простором уже опустевших полей. Поодаль, у леса, паслось колхозное стадо — несколько сот подтелков, все одного возраста, роста, одинаковой буро-красной масти. На огромном поле по другую сторону дороги тарахтел неутомимый колхозный трактор — пахал под зябь. Навстречу нам шли машины, громоздко нагруженные льнотрестой. В придорожной деревне Будиловичи ярко пламенели в палисадниках поздние георгины, на огородах в распаханых бороздах с сухой, полегшей ботвой копались деревенские тетки — выбирали картофель. Природа наполнилась мирным покоем погожей осени; тихая человеческая удовлетворенность просвечивала в размеренном ритме извечных крестьянских хлопот, когда урожай уже выращен, собран, большинство связанных с ним забот позади, оставалось его обработать, подготовить к зиме, и до



следующей весны — прощай, многотрудное и многозаботное поле.

Но меня эта умиротворяющая благодать природы, однако, никак не успокаивала, а только угнетала и злила. Я опаздывал, чувствовал это, переживал и клял себя за мою застарелую лень, душевную черствость. Никакие мои прежние причины не казались теперь уважительными, да и вообще были ли какие-нибудь причины? С такой медвежьей неповоротливостью недолго было до конца прожить отпущенные тебе годы, ничего не сделав из того, что, может, только и могло составить смысл твоего существования на этой грешной земле. Так пропади она пропадом, тщетная муравьиная суeta ради призрачного ненасытного благополучия, если из-за него остается в стороне нечто куда более важное. Ведь тем самым опустошается и выхолащивается вся твоя жизнь, ко-

торая только кажется тебе автономной, обособленной от других человеческих жизней, направленной по твоему сугубо индивидуальному житейскому руслу. На самом же деле, как это не сегодня замечено, если она и наполняется чем-то значительным, так это прежде всего разумной человеческой добротой и заботой о других — близких или даже далеких тебе людях, которые нуждаются в этой твоей заботе.

Наверно, лучше других это понимал Миклашевич.

И кажется, не было у него особой на то причины, исключительной образованности или утонченного воспитания, которые выделяли бы его из круга других людей. Был он обыкновенным сельским учителем, наверно, не лучше и не хуже тысяч других городских и сельских учителей. Правда, я слышал, что он пережил трагедию во время войны и чу-



дом спасся от смерти. И еще — что он очень болен. Каждому, кто даже впервые встречался с ним, было очевидно, как изводила его эта болезнь. Но я никогда не слышал, чтобы он пожаловался на нее или дал бы кому-либо понять, как ему трудно. Вспомнилось, как мы с ним познакомились, во время перерыва на очередной учительской конференции. С кем-то беседуя, он стоял тогда у окна в шумном вестибюле городского Дома культуры, и вся его очень худая, остроплечая фигура с выпирающими под пиджаком лопатками и худой длинной шеей показалась мне сзади удивительно хрупкой, почти мальчишечьей. Но стоило ему тут же обернуться ко мне своим увядшим, в густых морщинах лицом, как впечатление сразу менялось — думалось, что это довольно побитый жизнью, почти пожилой человек. В действительности же, и я это знал

точно, в то время ему шел только тридцать четвертый год.

— Слышал о вас и давно хотел обратиться с одним запутанным делом, — сказал тогда Миклашевич каким-то глухим голосом.

Он курил, стряхивая пепел в пустой коробок из-под спичек, который держал в пальцах, и я, помнится, невольно ужаснулся, увидев эти его нервно дрожащие пальцы, обтянутые желтой сморщенной кожей. С недобрым предчувствием я поспешил перевести взгляд на его лицо — усталое, оно было, однако, совершенно спокойным.

— Печать — великая сила, — шутили и со значением процитировал он, и сквозь сетку морщин на его лице проглянула добрая, со страдальческой грустью усмешка.

Я знал, что он ищет что-то в истории партизанской войны на Гродненщи-



не, что сам еще подростком принимал участие в партизанских делах, что его друзья-школьники повешены немцами в сорок втором и что хлопотами Миклашевича в их честь поставлен небольшой памятник в Сельце, но вот, оказывается, было у него и еще какое-то дело, в котором он рассчитывал на меня. Что ж, я был готов. Я обещал приехать, поговорить и по возможности разобраться, если дело действительно запутанное, — в то время я еще не потерял охоту к разного рода запутанным, сложным делам.

И вот опоздал.

В небольшом придорожном леске с высоко вознесшимися над дорогой шапками сосен шоссе начинало плавное широкое закругление, за которым показалось наконец и Сельцо. Когда-то это была помещичья усадьба с пышно разросшимися за много десятков лет суковатыми кронами старых вязов и лип,